

ФАРИТ ГАРЕЕВ

---

# Когда вернется старший брат...

СБОРНИК РАССКАЗОВ



Фарит Гареев

**Когда вернется старший брат...**

«Издательские решения»

**Гареев Ф.**

Когда вернется старший брат... / Ф. Гареев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747342-6

Почему стоквартирная пятиэтажка по утрам остается без воды? Может ли человек начать новую жизнь или же она окажется продолжением прежней, пусть и с новыми персонажами? Какие уроки и открытия принесет десятилетнему мальчику светлый день Пасхи? И что случится, когда вернется старший брат... В сборник вошли рассказы, написанные с 1996 по 2009 год.

ISBN 978-5-44-747342-6

© Гареев Ф.  
© Издательские решения

## Содержание

Vita nova	6
Станционный смотритель	15
Карлсон	19
Когда вернётся старший брат...	24
Шапокляк	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

**Когда вернется старший брат...**  
**Сборник рассказов**  
**Фарит Гареев**

© Фарит Гареев, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Vita nova

*В трудный час, когда ветер полощет зарю  
В тёмных струях нагретых озёр,  
Птичьи гнёзда ищут, раздвигая ивыяк.  
Сам не знаю, зачем их ищут.*

**Н. Рубцов. «Соловьи».**

Неладное Лёшка чувствовал уже давно, но доказательств неверности Ирины найти не мог, да и не искал, если честно. Он ведь и всю жизнь был таким, – не то чтобы безвольно плыл по течению, но и не барахтался особенно, пытаясь выгresti со стремнины на более спокойный участок жизни. Вскипала жизнь вокруг Лёшки, – и он вместе со всеми летел в её бурлящем потоке, успокаивалось течение, – и он подчинялся ленивому движению, не задумываясь, куда и зачем несёт его... Последнее, кстати, нравилось ему куда больше, чем избыток событий, даже самых радостных. Мать ещё в школе называла его «тюфяком».

Так и в этом случае: чувствуя, и даже наверняка зная, что с Ириной происходит что-то неладное, что с некоторых пор стала она совершенно чужой, событий Лёшка не торопил. И, вполне возможно, жил бы он в приятном неведении, омрачённом разве что глухой неосознанной тревогой, еще очень длительный период времени, если бы не этот проклятый телефонный звонок, сделанный им из захолустного городка Н., куда Лёшку послали по работе в трехдневную командировку.

Какая техническая неисправность привела к тому, что телефонную линию перемкнуло, и вместо того чтобы слышать в трубке короткие гудки «занято», он вклинился в приватный разговор Ирины и Наташи, ее лучшей подруги, Лёшка не знал. Но факт остаётся фактом: он стоял в кабинке телефона-автомата междугородного переговорного пункта городка Н., за добрую сотню километров от дома, и подслушивал сердечную беседу жены с подругой, причём, как выяснилось несколько позже, не имея возможности сказать им даже слово. А сказать его Лёшке захотелось уже спустя полминуты, когда до него дошли смысл и тема разговора подружек. Если договаривать до конца, Лёшка пустил обеих стерв матерком, приложил, что называется, по полной программе, но, увы! – именно после этого и выяснилось, что связь-то односторонняя: он жену с подружкой слышит, а они его – нет.

А может, оно и к лучшему? За три дня, – а именно настолько затянулись поминки по любви, проведённые в беспробудном пьянстве, – первые, самые сильные эмоции улеглись и домой Лёшка вернулся спокойным, рассудительным, с одной-единственной целью... Если честно, он был даже доволен, что не поддался первому душевному порыву и не позвонил тут же, из автомата, домой, чтобы наговорить Ирине всё, что рвалось наружу, а, выйдя из почтового отделения, зашёл в первый же магазин и купил литр её, родимой, с самой немудрящей закуской в придачу... Всё на свете только бредни, шерри-бренди, ангел мой.

Описывать бракоразводный процесс семьи Ахметьевых не стоит, хотя бы потому, что ничем он, в сущности, от подобных ему не отличался. За тем только исключением, что прошёл он более-менее мирно, без обычных взаимных обвинений и тяжбы по поводу нажитого имущества. Последнее, впрочем, в большей степени объяснялось тем, что особого имущества Ирина с Лёшкой за два года супружества не нажили. Как и детей. К счастью или к несчастью. Мог, правда, возникнуть конфликт из-за двухкомнатной квартиры, где проживали Ахметьевы, но тут закон был на стороне Лёшки. Вернее, – на стороне его матери, на имя которой была приватизирована квартира.



Так что, делить Лёшке с Ириной, по большому счёту, было нечего. За исключением, разве что, общих знакомых, – как тех, кого они приобрели за время совместной жизни, так и тех, кто пришел в неё из жизни прошлой, порознь, и стал общим знакомым уже впоследствии. Каждому из таких друзей и приятелей пришлось подстраиваться под новую реальность, искать новую манеру поведения в общении с бывшими супругами, но и здесь, если присмотреться, особых затруднений тоже не возникло. Кто-то принял сторону Лёшки, кто-то – Ирины, в основном, по половому признаку, разумеется. Самые же благоразумные предпочли выбору нейтралитет, трезво рассудив, что жизнь – калейдоскоп, и ещё неизвестно, как все обернется. Разойдутся, и вновь сойдутся, – мало, разве, таких историй? А ты потом кусай локти да кляни свою недалекость...

Ну, а в главном проигрыше, как ни раскидывай, остался Лёшка. Другьям и приятелям его развод был, конечно же, неприятен, кому больше, а кому меньше, но не более. Чужая жизнь интересна настолько, насколько позволяет своя. Несложную эту формулу новые времена сделали особенно актуальной. Подружкам Ирины, само собой, судьба Лёшкина была и вовсе до одного места. Сама Ирина внакладе тоже не осталась: вместе с желанной, как выяснилось, свободой, она обрела возможность быть с любимым, а значит, и новую жизнь, с радужными ли, печальными, но перспективами. Разумеется, Лёшка, как и его бывшая супруга, тоже приобрел свободу, о каковой, если быть честным, случалось, что и мечтал, – так, знаете, чтобы на денёк-другой вырваться с друзьями куда-нибудь на лоно природы, да потряхнуть стариной. Но, как выяснилось уже спустя неделю после развода, не нужна она ему оказалась, эта свобода, постылая, тягостная, поскольку обратной стороной её оказалось одиночество. Забыть о которм, хотя бы отчасти, можно было днём, на работе, но которое вкупе с памятью наваливалось на Лёшку по вечерам, когда он оставался раз на раз с самим собой в пустой квартире.

На следующий день после развода Лёшка устроил генеральную уборку и полностью переставил мебель в квартире, – в надежде, что смена декораций поможет ему как можно скорее забыть о недавнем прошлом. И, действительно, желаемого Лёшке достичь удалось, – возвращаясь домой с работы, особенно в первое время, он даже вздрагивал от испуга, что по ошибке забрался в чужую квартиру. Испуг, впрочем, тут же сменялся досадой на самого себя, – ведь всё это можно было проделать ещё месяц назад, когда Ирина собрала вещи и ушла из дома. То есть, приди эта спасительная и простая мысль к Лёшке несколько раньше, то и не было бы у него целого месяца мучений, вызванных воспоминаниями... Каковые наваливались на него с особенной силой, стоило ему только переступить порог своей пустой квартиры.

Новая жизнь, – так новая жизнь! Разрушить всё до основания, а затем строить заново, – что может быть проще, казалось бы?.. Но, увы, этот рукотворный самообман перестал действовать уже спустя неделю, когда предметы обстановки прочно заняли свои места не только в квартире, но и в сознании её хозяина и, утратив первоначальный флёр новизны, вновь обрели свою неизменную суть.

Диван, хоть и переставленный на новое место и накрытый подобием чехла, от этого не стал новым, только что купленным диваном. Садясь или ложась на него, Лёшке неизбежно вспоминалось, что чуть более месяца назад здесь сидела или лежала Ирина, по обыкновению, – в своей излюбленной позе, с уютно поджатыми под себя ногами, и смотрела телевизор, стоявший теперь у противоположной стены. Передвинутый ближе к окну сервант с основательно прореженными стеклянными полками и вовсе чудил, мерзавец, – случалось, и очень часто, что Лёшка боковым зрением успевал заметить в зеркальной его поверхности не только своё собственное, но и её, Ирины, движение... Призрак, рождённый больной памятью, впрочем, исчезал тут же, стоило только оглянуться, но оставлял по себе долгую заячью дробь сердца в гулкой пустоте грудной клетки.

И в точности так же было и со всей остальной мебелью, – список можно продолжить, но стоит ли? И не только с мебелью, но и вообще, со всеми прочими вещами: одеждой, посудой, постельными принадлежностями, – словом, со всеми теми предметами человеческого быта, что остались у Лёшки после развода. Даже зубная щетка, – первое, что встречало Лёшку утром после пробуждения, – и та напоминала об Ирине, потому что была куплена ею...

Осознав всё это, Лёшка попробовал было вновь повернуть тот же фокус с перестановкой мебели, но на этот раз вышло еще хуже. Чувство обманчивой новизны испарилось уже на второй день, и Лёшка окончательно уяснил себе, что эта своеобразная игра в пятнашки ни к чему не приведет. К хорошему, уж точно. Ни выигрыша, ни, тем более, призов, в этой игре предусмотрено не было. От перестановки мест сумма слагаемых не меняется, – это нехитрое арифметическое правило, вынесенное из школы, действовало и здесь. Суммой была память, а в роли слагаемых выступал практически весь внешний мир.

Покинул квартиру, – и вот они, обшарпанные, исписанные корявыми надписями стены подъезда, шербохатые ступени, которых недавно касалась нога Ирины, дальше – двор, и какой дорогой ты не пойдешь, – всюду встретишь на городских улицах приметы, значки, уцепившись за которые, примется за свою неприметную, но непрерывную работу проклятая память.

Память, память... Как было избавиться от неё, как было лишить себя прошлого? С квартирой-то ладно, там Лёшка был хозяином, и, стало быть, мог поступить с ней, как ему заблагорассудится, но вот что он мог сделать со всем остальным миром, который принадлежал не только ему одному и коррекции не поддавался? Впрочем, выход, чисто умозрительный, был найден тут же. Предположив, что если ты над пространством не властен, то вот над своим местоположением в нём – это да, некоторое время Лёшка прожил в той иллюзии, что избавиться от прошлого поможет полная смена обстановки: мебели, квартиры, города... Страны, наконец.

Эта навязчивая идея владела им несколько недель, в течение которых он покупал газеты бесплатных объявлений, внимательно изучая разделы о междугороднем обмене квартирами. Но с особенным пристрастием Лёшка вчитывался в объявления о помощи с эмиграцией, неважно в какую страну, хотя желательно бы в развитую... Строил планы, словом. Но, как и в случае с перестановкой мебели до Лёшки быстро дошло, что даже при таком раскладе лишить себя памяти полностью он не сможет.

Увы, но, как и все люди, над памятью своей не властен был Лёшка, – мысли его раз за разом возвращались к Ирине, особенно в том случае, если он заставлял себя не думать о ней. Теперь, когда время, прошедшее с того злополучного вечера, ослабило обиду и злость на Ирину, вдруг выяснилось, что она, стерва, сволочь, сучка такая, и ещё множество куда более нелестных эпитетов, – единственная. А потому – от воспоминаний о ней укрыться нигде. Должно быть, в этом и заключается главное отличие внутреннего мира человека от мира, который окружает его. В мире внутреннем, как и в мире внешнем, легко было заплутать, но вот найти потайное место, где можно было бы спрятаться от главного преследователя, самого себя, – нет... Более того, – беги, кролик, не беги, но даже оторваться не сможешь, эта гонка на всю жизнь.

Разум был одной из самых сильных сторон личности Лёшки Ахметьева. Может быть, – даже излишне. В сущности, в этом и заключалась беда Лёшки, что привык он вначале осмысливать свои эмоции, и лишь затем давать им ход. Вернее, – совсем не давать. Разложить свои эмоции по полочкам, значило там их и оставить. С одной стороны это спасало от необдуманных поступков и их последствий, с другой – практически полностью лишало свободы маневра... Безумству храбрых поём мы песню?

На этом игры в самообман закончились. И продолжились, только в иной форме. Но сама мечта о полной смене обстановки и места проживания, вплоть до страны, осталась и превратилась в нечто похожее на вялотекущую форму шизофрении. Всё-таки было нечто притяга-



тельное в этих бесплодных грезах об отъезде в дальние дали и возвращении годы спустя, – успешным и влиятельным человеком. На зависть Ирине. И к ее же досаде...

Если в будние дни существовать было ещё туда-сюда, то в выходные Лёшке становилось совсем невмоготу. Даже нелюбимая работа, и та в этом отношении оказалась предпочтительней, нежели никем и ничем не занятое время выходных. Нередко Лёшка попросту сбегал из дома, найдя выход из положения в частых визитах к друзьям, приятелям и просто знакомым.

Они делились на две категории, – семейные пары и такие же, как Лёшка, неудачники в личной жизни. Последних и прежде у Лёшки было предостаточно, но тогда все они находились на периферии его жизни, – как ни крути, а сытый голодного не то чтобы не разумеет, но даже не замечает. И лишь после крушения собственной семейной жизни Лёшка с удивлением заметил, что разводы в последнее время приняли форму эпидемии, и что одиноких друзей-приятелей среди его знакомых куда больше, чем благополучных семейных пар.

Поначалу, когда тоска и память заедали с особенной силой, общаться Лёшка предпочитал с одиночками. Они, казалось ему, лучше других понимают его горе. Но спустя малое время общение с такими приятелями Лёшка свёл к минимуму, поскольку большинство встреч с ними заканчивались покупкой бутылки с немудреной закуской и посиделками на кухне до поздней ночи. Само собой, – под неизменный трёп, суть которого, как правило, сводилась к расхожей народной идиоме: – весь мир бардак, ну, и так далее. Расплатой за это была утренняя головная боль, усиленная мучительным стыдом за сказанное накануне. Если поначалу всё это нравилось Лёшке, – какое-никакое, а общество, опять же, элемент сочувствия и понимания, нехватка которых в первый, самый трудный после развода период чувствовалась наиболее остро, то спустя месяц-другой он стал избегать подобных посиделок. Как подметил Лёшка, большинство приятелей интересовало не столько его, Лёшкина, беда, сколько возможность выпить с комфортом в его квартире, что, понятное дело, было куда привлекательней, чем пить в подъезде или на улице. «Привыкничай», – таким презрительным глаголом он обозначил эти вечерние, с тенденцией перехода в ночь-заполночь посиделки на кухне. Ну, а тех, кто принимал в них участие, не исключая самого себя, – «привычками».

На этом фоне вечера, проведённые в кругу семейных пар, смотрелись куда как более выигрышно. Там, случалось, тоже выставлялась бутылочка на стол, но всё выглядело много пристойнее, чем в кругу «привычников»... И скучнее. Да и по любому, греться всю дорогу у чужого очага не представлялось возможным, – хотя бы потому, что у всякой семейной пары существовала своя собственная, отдельная от человеческого сообщества жизнь, посторонним в которую вход был строго-настрого заказан. В этих замкнутых мирках место находилось только для двоих, троих, четверых, – в том случае, если были дети. Лёшка же был посторонним, чужаком. Даже самым гостеприимным из семейных приятелей постоянные визиты Лёшки становились в тягость. Что находило своё подтверждение в натянутых улыбках, а часто и в плохо прикрытом раздражении. К тому же, как заметил Лёшка, пребывание в гостях у семейных пар, особенно в том случае, если вечер складывался удачно, имело две очень неприятные стороны.

Первая заключалась в том, что знакомые были общие с Ириной, и это обстоятельство вызывало невольные воспоминания о праздниках, проведённых в этих же стенах, но только вместе с нею. Второй же неприятной стороной оказалось то, что тоска и одиночество после возвращения домой становились ещё больше, ещё ужасней. Слишком разителен был контраст между его пустой холодной квартирой и недавно покинутым мирком семейного благополучия, особенно в первые минуты, пока включенный телевизор не создавал своеобразный эффект чужого присутствия, вводя Лёшку иллюзорный мир, более красочный и привлекательный, нежели жизнь реальная. Телевизор в квартире выключался только глубокой ночью и стоит ли удивляться тому, что спустя некоторое время жизнь Лёшки чуть было не превратилась в суррогат, поскольку неразрывной её частью стали бесконечные сериалы, заполонивших все про-

граммы российского телевидения. Включить телевизор, и за просмотром сериала хотя бы на время забыть о собственной жизни, скудной на события, – что ж, это, конечно, выходом не назовёшь, но всё же, всё же...

Всё же, жизнь надо было как-то менять. Хотя бы её внешнюю сторону. Вот только – каким образом? К этому времени Лёшка уже пришёл к малоутешительному выводу, что даже если Ирина пойдёт на попятную, он ни за какие коврижки не примет её обратно. Не сможет простить ей не столько самого факта измены, сколько той, второй, тайной жизни, которую Ирина, как выяснилось, вела последние полгода. Уйди она сразу же после того, как полюбила другого, – это бы Лёшка понял, это было бы по-честному. Но вот то, что Ирина играла на два фронта, что-то решая для себя, а он по её милости играл классическую роль сохатого, – этого Лёшка простить своей бывшей супруге не мог. И не смог бы. Моделируя подобное развитие событий, Лёшка неизменно приходил к печальному пониманию, что даже в случае примирения всё та же проклятая память будет стоять между ним и Ириной. Не приручить этого зверя, нет, даже посаженный на поводок разума, он будет скалиться и рычать на тебя.

Словом, выходило так, что к прошлому возврата не было. Но будущее, тем не менее, требовало обустройства. Одиночество, помноженное на память, чем дальше, тем больше заедало Лёшку. Настолько, что порой хотелось кончить все мучения разом... Это будет так просто, у самых ресниц клюнет клювик, – ау, миражи!

А тут ещё эти сны. Постоянная погружённость в прошлое привела к тому, что память стала преследовать Лёшку не только наяву, но и в снах. Происходить в этих сновидениях могло что, как и где угодно, но одно в них всегда оставалось неизменным, – присутствие Ирины, в качестве главной ли героини, второстепенного ли персонажа, не важно. Ведь даже и в том случае, если находилась Ирина на окраине сюжета, в роли заурядной пешки, роль её рано или поздно оказывалась центральной, раз – и в дамках, и пошла рубить всех подряд, только успевай подсчитывать убытки, но всё равно не уследить, игровое поле уже пусто, и в центре – она, прима, гляди, вон красуется... Господи, даже и во сне, где, казалось бы, и ты сам всего лишь персонаж, без воли и желаний, такая же игрушка в руках подсознания, как и все остальные герои, Лёшка каким-то неведомым образом приподымался над сном, отстранялся, и, становясь зрителем, следил только за Ириной и ждал только её появления, а по пробуждению вспоминал только эти куски сна, не без доли мазохизма раз за разом прокручивая их перед глазами.

Ах, как не любил Лёшка эти сны! Пробуждение после них было мучительным, что в том случае, когда снились ему сны со счастливым сценарием и финалом, что в том, когда всё происходило с точностью до наоборот. Нет, в первом случае пробуждение воспринималось, пожалуй, что и более мучительно. Если снилась сказка с несчастливym концом, пробуждение всё-таки было сродни освобождению, переход в действительность, тоже не шибко радостную, но зато более привычную, не только казался, но и был самым настоящим спасением. Если же снился сон счастливый, переход из того, созданного подсознанием мирка в мир действительности был тягостен, в этих снах, где всё напоминало время оно, хотелось остаться... Желательно – навсегда.

Если такие сны снились в выходные, Лёшка залёживался в постели, случалось, что и до раннего вечера. Барахтался на грани сна и яви, засыпал и просыпался, и снова засыпал, точно подчиняясь неосознанному желанию не просыпаться вовсе...

Значит, так. Маршрутов было два – внутренний и внешний, как условно называл их Лёшка. Первый пролегал по центральным городским улицам, с непременно посещениями всех без исключения магазинов и долгой прогулкой по городскому рынку. Вторым охватывал улицы окраинные, а также узкие дорожки лесопарка, иной раз, под настроение, с переходом в лесную чащобу, – сделать это было легче лёгкого, поскольку чётко обозначенной границы

между лесом и лесопарком, в общем-то, не существовало. Ещё минуту назад, казалось бы, тебя окружал неумолчный городской гул и слышались в отдалении звонкие детские голоса, но вдруг, – чу! остановись, и схлопнется вокруг тебя тугая, напряженная тишина осеннего леса...

Длительные пешие прогулки по городским улицам стали своего рода отдушиной для Лёшки, когда все иные способы спасения от одиночества оказались перепробованными. Вышел из дому и пошёл себе, куда глаза глядят, сворачивая на перекрестках, хочешь направо, а хочешь – налево... Улица полна неожиданностей. Особенно на маршруте внутреннем, где всегда можно было встретить знакомых, с высокой степенью вероятности найти себе занятие на целый день... Уж как минимум, на получасовой и, как правило, бессодержательный разговор, на который любого из знакомцев развести можно было лёгко. Главное, в этом случае исчезал тот элемент зависимости от чужой воли, какой был характерен, когда ты напрашивался к кому-либо в гости. А так что? – я остановился поболтать с Геккельбери Финном... И никто никому ничего не должен.

Но предпочтительней, всё-таки, выглядел маршрут внешний, как раз потому, что прогуливаясь по окраинным улочкам и уж тем более по дорожкам лесопарка, риск повстречать кого-либо из знакомых был несравненно ниже, чем на маршруте внутреннем. Как ни странно, но люди, общения с которыми, вроде бы, больше всего не хватало Лёшке в этот период его жизни, во время этих прогулок ничего, кроме чувства злобного отторжения, у него не вызывали. Собственно, эти прогулки тем и были хороши, что в движении Лёшке хорошо думалось или мечталось и, если разобраться, еще неизвестно, где пролегали его настоящие маршруты, – во внутреннем или же во внешнем мирах.

Думалось или мечталось обо всём, что в голову взбредёт. Случалось, что Лёшка всю дорогу лелеял свою мечту свалить за бугор, или же размышлял ещё над каким-либо проектом переустройства своей жизни в лучшую сторону, возводя и тут же, на месте, разрушая замки из песка. Но чаще всего во время этих прогулок Лёшка вспоминал своё недавнее прошлое, пытаясь найти ответ на вопрос, где же и как он сумел убить любовь Ирины к себе. В отличие от большинства людей Лёшка в первую очередь искал причины конфликтов и жизненных неурядиц в самом себе, а не в поведении и поступках окружающих. Во всяком случае, – старался. Раз за разом прокручивая в голове эпизоды семейной жизни, Лёшка неизменно приходил к выводу, что какой-либо фатальной, катастрофической ошибки он не совершил, но зато наделал кучу небольших промахов, совокупность которых и привела его к разводу. Где-то Лёшка проявил элементарную невнимательность, где-то, под плохое настроение, сказал грубое словцо, где-то он должен был уступить, а не настаивать упрямо на своём... Но по большому счёту упрекнуть себя Лёшке было не в чем. Капля, она и камень точит, утешся.

И тем сильнее было чувство обиды и протеста, которое возникало в душе Лёшки всякий раз, когда он, после длительных размышлений, приходил к такому выводу. Будь он груб с Ириной, подними он хотя бы раз на неё руку, – здесь, что же, кроме как самого себя, любимого, винить Лёшке было некого. Но в том-то и дело, что вся семейная жизнь Ахметьевых была на редкость спокойной, с редкими разногласиями по пустякам, – ну, да и то, куда же ты без них, не роботы же, люди! Но тогда не в этом ли коренилась причина всех нынешних бед Лёшки, что безумная некогда любовь превратилась в тихое ровное тление и без постоянной эмоциональной подпитки пустила свой последний дымок, вспыхнув, впрочем, напоследок? Ведь только оглянься назад и, несомненно, увидишь, что в поведении и в словах Ирины в те последние дни совместной жизни сквозило нечто очень болезненное, нервное, точно она, цепляясь за то главное, что может быть в жизни женщины, еще пыталась раздуть в своей душе затухающий огонек любви... Всё равно его не брошу, потому что он хороший.

Ах, верни сейчас Лёшку провидение в ту точку прошлого, где он в первый раз увидел Ирину, дай только оно ему возможность сыграть на игровом поле жизни заново, но при этом,

само собой, не лишая знания настоящего, он, несомненно, вёл бы себя совсем иначе, чем когда-то. В чём-то он был бы более разумен, в чём-то, наоборот, – безрассуден и, быть может, жизнь с Ириной, разыгранная по новому сценарию, всё ещё длилась бы... Но – но. Пьеса давно закончилась, кулисы – задернуты, а разведи их, – на сцене декорации для нового спектакля.

Не потому ли всё чаще и чаще Лёшка ловил себя на том, что во время прогулок глаза его помимо воли ищут девичьи и женские лица, оценивают, высматривают в них нечто, что помогло бы ему найти в себе силы развести кулисы в стороны и открыть сцену жизни с новым главным персонажем на ней? Это ли стало главной причиной или же нечто другое, но после одной встречи жизнь Лешки Ахметьева на очень долгий период приукрасило нечто вроде хобби, увлечения... Или же своеобразного вида спорта? Неважно. Как ты ни назови это увлечение, суть его останется неизменной. В народе этот вид спорта называется одним коротким и хлестким производным от бранного обозначения девиц лёгкого поведения.

Что же до частных, то как-то во время прогулки Лёшка встретил давнюю и полузабытую свою приятельницу, Надюху Кораблёву, – одинокую разведёнку. Она была некрасива, даже и в юности, личная жизнь, как и у Лёшки, у неё тоже не задалась... Что ещё? А больше и сказать о ней нечего. Кроме того, разве, что с неё-то, Надюхи, всё и началось. Хотя, с другой стороны, не было бы Надюхи, возник бы иной персонаж. Причинно-следственная цепочка здесь просчитывалась легко.

Ну, хорошо, – встретились, остановились поболтать... А что в этом запретного? Встреча закончилась псевдоромантическим ужином при свечах. И, само собой, постелью. Без всяких дальнейших притязаний на свободу друг друга. Причем, вслух ничего произнесено не было, ни в начале встречи, ни после разрыва отношений, но на ином, невербальном уровне, оба сразу же уяснили, что именно нужно каждому из них. Ну, а поскольку ничего, даже отдалённо похожего на чувство между Лешкой и Надеждой не было и в помине, то романчик свернулся сам собой и затух уже спустя неделю, ни в душе, ни в памяти каждого из них ничего не оставив. Но именно эта встреча послужила импульсом...

Победы оказались на удивление легкими, с некоторой, разве что, толикой разнообразия, заключающейся в том, что иные из барышень обходились Лёшке дешевле, а иные дороже, как в материальном эквиваленте, так и в смысле потраченного на ухаживания времени. Но, в общем и целом, всякое новое знакомство практически всегда заканчивалось постелью, – впрочем, так оно и планировалось, поскольку для Лёшки, особенно в первое время, это было своего рода мщением Ирине, в лице всех остальных представительниц слабого пола, за похеренную её стараниями личную жизнь. Ну и, опять же, физиология, – куды ж ты от неё денешься?

Первое время Лёшка относил ту легкость, с какой он одерживал победы на любовном фронте, на счёт собственной неотразимости, но затем всё-таки признался себе, что успех у женщин объяснялся куда проще. А именно тем, что он изначально выбирал барышень непритязательных, дабы не иметь с ними никаких проблем, – ни в начале, ни в конце очередного романчика. Случались, конечно, проколы и накладки, одна скандальная история, к примеру, тянулась очень долго, с рукоприкладством, битьём посуды и взаимными угрозами, но подобное случалось крайне редко. Как правило, всё заканчивалось сообразно расхожей формуле: с глаз долой, из сердца – вон. Тем более что там, в сердце, кроме пустоты ничего не было изначально.

И всё бы ничего, но утром наступало похмелье, не столько физическое, сколько нравственное. Девица рядом была всего лишь телом, сродни резиновой кукле, и даже красота или привлекательность, как тела, так и лица, не делала её одушевлённой, поскольку между ней и Лёшкой напрочь отсутствовал главный фермент в отношениях женщины и мужчины, – чувство. Нет, чувства у Лёшки, конечно же, возникали, но, увы, совсем не те, каких хотелось бы ему в глубине души. Равнодушные, – это в лучшем случае, но чаще всего охватывала Лёшку

чувство редкой гадливости, и не поймёшь вот, навскидку, – к партнёрше или же к самому себе, паскуднику. Правда, на этот случай Лёшка нашёл себе нечто вроде морального оправдания: смысл отговорки заключался в том, что он-де как раз ни в чём не виноват, за что и в чём его, Лёшку, можно винить, если он всего лишь следствие, а не причина?

Впрочем, если честно, особых угрызений совести Лёшка все-таки не испытывал и в основном потому, что, как он ясно видел, чувства, которые испытывала по отношению к нему очередная партнёрша, были зеркальны отображением его собственных чувств по отношению к ней. Он играл, но и она играла, он вертел, но и им вертели... Вообще, если разобратся, ещё неизвестно, кто из них был объектом, а кто субъектом. Кто игрушкой, а кто – кукловодом. Кто дрессировщиком, а кто тигрой. Тут под каким углом взглянуть. Но и то, как ты ни взгляни, по любому выходило, – баш на баш. А в результате – пустота, ноль, опустошение.

По-настоящему худо становилось, только если вдруг выяснялось, что новая пассия имеет не только определённые виды на его, Лёшкину, свободу, но и испытывает чувство к нему... Настоящее или придуманное, неважно. Такие отношения Лёшке рвать было труднее всего, тут уж приходилось изворачиваться и финтить, старательно лавируя между правдой и ложью.

Но еще больше угнетало Лёшку то обстоятельство, что все эти интрижки и романчики были абсолютно не похожи на прежнюю любовь. Даже в том отношении, как *это* (воспользуемся нехитрым эвфемизмом, которым стыдливый от природы Лёшка обозначал физиологический процесс) происходило у него с Ириной. Если с Ириной *это* служило всего лишь приложением, немаловажным, конечно, но всё-таки, то здесь оно изначально ставилось во главу угла и именно потому превращалось в механический процесс, очень редко подкреплённый чем-то отдаленно похожим на чувство. И чем большим становилось число одержанных побед, тем гаже и паскудней чувствовал себя Лёшка, особенно когда появилась техника, – как ухаживаний, так и непосредственно всего, что касалось *этого*. Знакомясь с очередной барышней, Лёшка заранее знал, что в дальнейшем, за малыми отклонениями, всё будет так-то и так-то, да и закончится все известным финалом.

Вот тут-то и выяснилось окончательно, что Ирина, увы, единственная. Если до и после развода Лёшка храбрился, уверяя приятелей, что свет клином на Ирине не сошёлся, то время спустя жизнь убедила его в противоположном.

Ирину нельзя было назвать красавицей, Лёшке попадались девицы куда привлекательнее бывшей жены, но ни одна из них не вызывала даже самой малой толики тех чувств, какие Лёшка испытывал к Ирине. По сути, любую барышню из своей коллекции мог выбрать Лёшка в качестве спасательного круга и перевести короткое знакомство в длительные отношения, но было ли это выходом из положения? То есть, как раз-то из одиночества как положения, это было выходом несомненным, а, пожалуй, что и единственным, но вот одиночества, как состояние души, подобный ход исправить не мог, хоть ты на голову встань. Ведь жизнь с нелюбимым человеком мало чем отлична от одиночества...

Словом, дело, как выяснилось, заключалось вовсе не в количестве женщин, а в качестве отношений с ними. Вернее – с ней, единственной. А цель, которой руководствовался Лёшка, пускаясь во все тяжкие, обернулась тем, чем и должна была – рано или поздно. Получалось, что пытаясь отомстить Ирине столь изощрённым способом, отомстил и продолжал мстить Лёшка в первую очередь самому себе. Потому что с каждой новой одержанной победой он всё больше и больше отдалялся от цели, погружаясь в бездну одиночества, тем более безысходного, что очки, на поиски которых он тратил и себя, и время, находились у него на лбу.

...Впоследствии, три года спустя, изредка вспоминая весь этот тягостный период своей жизни, больше похожий на кошмарный сон, бред, в особенности потому, что тогда казалось, что он никогда не закончится, Лёшка, женатый вторым браком, неизменно приходил к выводу, что выхода в той ситуации у него, действительно, не было. Вернее, – он существовал, и более

того, лежал на самой поверхности, только руку протяни, но для того, чтобы найти его, ему, Лёшке, необходимо было пройти сквозь этот ад одиночества и воспоминаний, через все эти поиски способов спасения от них, которые, по большому счёту, сводились к ежедневному бегству от самого себя. Видимо, всё это было нужно Лёшке для того, чтобы после встречи с Ольгой, второй женой, быть подготовленным к работе над ошибками. В том смысле, чтобы назубок усвоить уроки прошлого и никогда больше не повторять совершённых промахов. Ну, а в случае повторения подвергать их немедленному, насколько это представлялось возможным, исправлению.

В этой, новой жизни, всё было и похоже, и в тоже время совершенно не похоже на ту, прошлую жизнь. В бытовом отношении она в чём-то повторяла последнюю, а в чём-то имела свои особенности, но вот само чувство к Ольге было совсем иного характера, нежели с Ириной. Самое главное, в этой любви, даже в самом начале её, не было того безумия, памятного Лёшке по прошлой жизни, что поначалу вызывало у него немалое удивление, – всё-таки ему было с чем сравнивать. С первых же дней чувство это было очень ровное, тихое, – так, что Лёшка не сразу понял, что это такое. Это, впрочем, неудивительно, потому что начиналось всё как очередная интрижка... Подаренная судьбой, как выяснилось несколько позже.

Впрочем, над всем этим Лёшка задумывался мало. У него была теперь новая жизнь и, полностью занятый ею, он почти не вспоминал о прошлой. Новые семейные заботы отнимали столько сил и времени, что на отвлечённые размышления их уже не оставалось. К тому же, – и Лёшка не был исключением, – люди склонны задумываться над чем-либо только когда им плохо... А когда всё хорошо, – стоит ли ломать голову?

И только эти сны, – Господи, эти сны! – в которых настигало Лёшку прошлое и которые снились теперь крайне редко, портили с таким трудом обрётённое счастье. Наутро после таких снов Лёшка просыпался совершенно разбитый, и нравственно, и физически, и, глядя на Ольгу, спящую рядом, начинал сравнивать её с Ириной. Неизвестно почему, но Ольга обычно тут же просыпалась и, заметив печальное лицо мужа и потерянный его взгляд, морщила носик и губы, совсем непохожие на губы и нос Ирины, затем улыбалась и говорила что-нибудь вроде: – «Хмурый муж пришёл», и Лёшка, пересиливая в себе, казалось бы, неодолимое, улыбался в ответ.

Дальше начинался новый день, в течение которого Лёшка ходил потерянный, плутая в глубинах и потаённых закоулках своей души, и только ближе к вечеру обретал душевное равновесие. Но под занавес этого трудного дня, уже в постели, уже засыпая, он всегда молил неизвестно кого, чтобы не снилось ему больше прошлое... А если всё-таки снилось, то как можно реже.

Господи, да за что же нам наказание такое, – эти сны?

2003 г.

## Станционный смотритель

*...уж я ли не любил моей Дуни?*

*А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»*

На пригородную железнодорожную станцию старик Евтеев ходит, как на работу. Каждое утро, – зима ли, осень, а только в семь утра он тут как тут. В руке неизменный портфель, в котором пара бутербродов и еще всенепременный мерзавчик, одет неказисто... Бедно даже одет, скажем прямо. Сядет на скамейку рядом с газетным киоском, примет сиротскую позу и ждет-поджидает очередную жертву. Рядом с киоском, – потому как знает, паразит, что пассажиры с проходящих поездов непременно подойдут купить чтиво какое, дабы хоть как-то скрасить томительную дорогу. Впрочем, такие пассажиры Евтеева не интересуют. Они что? – купили себе газетку или целый пук таковых, и обратно в свой вагон. Нет, с такими кашу не сваришь.

Старика Евтеева интересуют другие пассажиры. А именно те, что ссаживаются на станции с целью пересесть на другой поезд. Станция-то узловая. Вот у этих – времени не сказать, чтобы пруд пруди, а как раз столько, сколько нужно старику. И поговорить-выговориться хватит, но и так, чтобы более близкое знакомство завести, – не получится. Самая серединка, словом, и тютельница в тютельную.

Вот, к примеру, один из таких разговоров. Не то чтобы показательный, но и не без того. Но покамест оставим старика на скамейке, пусть себе сидит-дожидается, очередную жертву высматривает.

...Что-то ближе к обеду на станцию прибыл пассажирский состав. Диспетчер прогнуса-вил маршрут и номер поезда, объявил время стоянки, перрон заполнился пассажирами... Как раз стоял теплый летний день, редкий в своем великолепии. И станция, старенькая, неухоженная, давно без ремонта, как-то умилительно смотрелась в этот день. Взглянешь – на душе тепло. А почему – непонятно. Палисадничек запущенный, со скошенным штакетничком... Скамейки парковые, каких, должно быть, нигде уже и нет... Три или четыре барбоса беспородных лежат в пыли, на солнышке греются... Все милое, доброе, уютное. Жить бы и жить в этой тиши!

Среди прочих пассажиров на перрон сошел крепкий плечистый парень в джинсовой куртке, с большой дорожной сумкой в руке. Ничем, как будто, собой неприметен был этот парень, но старик Евтеев сразу же выделил его из прочих пассажиров.

Парень подошел к газетному киоску, купил несколько газет и журналов, затем посмотрел на часы, вздохнул, огляделся, и присел на скамейку рядом со стариком Евтеевым. Запуршал газетами. Старик Евтеев выждал положенное время и спросил:

– А ты, к примеру, сынок, далёко едешь-то?

Парень покосился на старика, смерил взглядом.

– На кудыкину гору, отец, – ответил неприветливо.

– Это где же такая? – точно не заметив подвоха, поинтересовался Евтеев.

– А то не знаешь? – парень отвернулся, показывая, что разговор на этом закончен. Но это он рано обрадовался. И не таких старик Евтеев на крючок цеплял, психолог доморощенный.

– А закурить, сынок, у тебя случайно не найдется?

Парень вздохнул, но пачку старику протянул.

– Спасибо, сынок, – поблагодарил Евтеев, вынув сигаретку. – Слава Богу, мир не без добрых людей... А можно две, сынок? Со вчерашнего дня, знаешь, не курил. Да и... Не кушал тоже... – добавил он полупшепотом, принимая скорбный вид.

– Бери... – расчувствовался парень (он покраснел, поморщился, на старика взглянул внимательно). – Тоже поезда ждешь, отец?



– Какой там поезда! – махнул рукой старик Евтеев. – Со вчерашнего вечера здесь сижу. Ночевать мне негде, сынок...

– Это как же? – озадачился парень. – Билетов нет? Или денег?

– Здешний я, сынок... Так что билет мне ни к чему.

– Бомж, что ли? Непохоже, вроде...

– Бомж не бомж... А скоро им стану, сынок, – ответил старик Евтеев и вдруг надрывно воскликнул: – Думал ли я, что на старости лет... И кто – дочь родная!

– А что – дочь?

Но тут старик Евтеев взял паузу.

– Подожди, сынок... Тяжело. Правда. Выкурю сигаретку...

И закурил, как курят, когда обдумывают что-то очень тяжелое. Как раз прошел мимо милиционер из здешнего линейного отделения.

– Что дядя Вася, опять? – спросил он, останавливаясь перед скамейкой.

– Опять, – ответил старик Евтеев, глядя себе под ноги.

– Ну, ну... – хмыкнул милиционер. Затем глянул на парня с каким-то непонятным выражением глаз и отошел.

– Видал? – сказал старик Евтеев, кивнув головой вслед милиционеру. – Я ведь не в первый раз уже здесь ночь коротаю... Знают меня. Тяжело, сынок.

– Да что случилось-то?

– Подожди, сынок... Тяжело.

Старик Евтеев еще с минуту курил, вздыхал, потом аккуратно затушил окуроч, положил в карман. Помедлив, глянул на пассажира таким взглядом, точно примеривался, – рассказать или нет о своей беде?.. Затем все-таки решился.

– Тебя как зовут, сынок?

– Александр... Саша.

– Вот так-то, Александр, оно в жизни бывает... Всю жизнь, можно сказать, на нее положил, и вот она чем отплатила... Отцу родному!

Старик Евтеев склонил голову, тяжело качнул головой, раз, другой... И лишь затем начал:

– Может, сынок, в кафе зайдём? Здесь кафе есть, прямо на станции. У меня бутылочка в портфеле, там разрешают... Если, конечно, время у тебя терпит. И если не побрезгуешь.

Парень подумал, кивнул головой согласно.

– Хорошо, отец. Есть у меня два часа в запасе. Только пить я не буду. Не люблю в дороге.

– Да мне только для поддержки, сынок! Я ведь и сам небольшой любитель этого дела. Просто... Тяжело мне сегодня, сынок. Понимаешь, – тяжело!

Они встали со скамейки, и старик Евтеев повел парня в кафе, где «разрешают».

В кафе старика Евтеева, похоже, знали. И встретили почему-то неприветливо... Парень, впрочем, этого не заметил.

Они сели за столик в углу, парень заказал комплексный обед, достали «заветную»... Когда старик Евтеев поднес горлышко бутылки ко второму стакану, парень воспротивился было, но потом махнул рукой, – мол, чего уж там... Лей!

Выпили, закусили... И старик Евтеев стал рассказывать горестную свою сагу, из которой выяснилось следующее.

Жена старика Евтеева умерла при родах. Но ребенок, девочка, – выжил. Ради нее-то, собственно, старик Евтеев остался жить на этом свете. Потому как жену свою любил до беспамятства и как жить без нее – не знал. Но ведь – долг. Ребенка сиротой оставить, – у кого же рука подымется? А так – наложил бы старик Евтеев на себя руки. Так тяжело, почти невозможно было жить ему без жены.

Как он жил эти двадцать пять лет, пока дочка не вышла замуж, – это отдельная история. Трудно жил. Нет, в материальном отношении, слава Богу, – нормально. Как все. Не хуже и не лучше. Страна была другая, люди другие... Все – другое. Но вот память о жене... Ни дня не проходило без воспоминаний о ней. Ночами приходила она к нему, и тогда просыпался старик Евтеев в слезах.

– Понимаешь, сынок! И вроде – мужик, и вроде – негоже мне, а плакал во сне!

– Ну... Это не считается, – во сне... – парень замылся. – Еще по одной, отец?

– Давай...

И только девочка спасала старика Евтеева, уменьшенная копия своей матери. Глянешь на нее, бывало, и легчает на душе... Девочка росла умницей, такая пригожая, ласковая, трудолюбивая... Словом, вся в мать, покойницу. Не только сам старик Евтеев, но и соседи на нее не могли нарадоваться. С десяти лет дом держался на ней. Постирать, приготовить, прибраться – все она.

Все было хорошо, пока не появился зять. А зять, он из этих, из «новых русских». Так-то оно ничего, но вот дом... Дернул черт старика Евтеева дать согласие на постройку нового дома на своем участке, взамен старого. Ну, построили дом, все хорошо. Не дом, – особняк. Ажно в два этажа!

– Понимаешь, – в два! И комнат – целых восемь! И еще – веранда с отоплением! Там даже зимой жить можно! А мне много ли нужно, старику?! Уголок выдели... А питаться я и сам могу, пенсию заслужил!

– И что – погнались?! – понял парень.

– Да... – признался старик. – Иди, говорят, отсюда, старый. Иди, куда хочешь!

Долго молчали. Парень сидел, опустив голову, весь красный, кулаки сжимал тугие.

– И вот... – нарушил молчание старик Евтеев. – Сам видишь, к чему я пришел. И ладно бы, кто другой... А то – дочь родная!

– А может, еще уладится, отец? – спросил парень.

– Ты их не знаешь, сынок... – тяжело вздохнул старик Евтеев. – Как она изменилась, когда спуталась с этим... Породил змеюку! Иной раз, – веришь, нет?! – а хочется прямо, как Тарас Бульба сказать: я тебя породил, я тебя и убью!

– Ну, отец, это уже того... Это лишнее. За это срок тебе припаяют. А жизнь...

– А на что мне такая жизнь, сынок? – перебил парня старик Евтеев.

– Ну, беспредельщики! – воскликнул парень. – А может, помочь, батя? А то я могу. Ребята у меня знакомые есть. Подъедут, разберутся, ты только скажи.

– Дочь родную? Да нет, сынок... Спасибо что выслушал... Пойду я.

Старик Евтеев некрасиво взрыднул, быстро поднялся и не прощаясь, пошел к выходу из кафе. С минуту парень смотрел в тарелку, задумчиво взяв липкую макаронину вилкой, затем подхватился и бросился вдогонку за стариком.

– Подожди, отец...

Старик остановился.

– Вот тебе, возьми, – парень сунул ему деньги.

– Нет, не возьму, сынок.

– Бери, говорю, батя! Бери!

Старик Евтеев помялся, но деньги все-таки принял.

– Ну, прощай, сынок. Спаси тебя Господь! И... И спасибо, тебе, что выслушал старика. А то ведь, – один совсем, выходит, остался. Дружки мои приятели все померли... Не то, что поговорить, – даже выпить не с кем.

Повернулся старик Евтеев, и побрел себе со станции... А парень долго сидел в задумчивости. Только когда объявили о прибытии на станцию нужного ему поезда, он очнулся и пошел на перрон. Но и там в поезд он сел не сразу, стоял до последнего, смоля сигарету за сигаретой.

... Вот чем занимается старик Евтеев на станции. Сердобольные пассажиры, бывает, нет, нет, да деньжишек ему подкинут. Как этот парень, к примеру. А один из проезжих оказался адвокатом и так проникся сочувствием к беде старика, что обещал написать заявление куда надо и всяческое содействие в деле. А еще было, что один из слушателей чуть было не рванул со станции морду бить евтеевскому зятю, нехорошему человеку. С большим трудом смог остановить его старик Евтеев... Впрочем, остановимся.

Остановимся. Потому как самая соль заключается в том, что нет всего этого. То есть, нет, – все, вроде бы, в наличии. И дочка у старика Евтеева есть, и зять, и дом двухэтажный, зятем построенный. (А жены действительно нет. Померла она. Но только не при рождении дочери, а три года назад.)

Но! Дочка – красавица и умница, и такая добрая, что прямо оторопь берет, – можно ли быть таким добрым в наше злое время? Да и зять, надо признать, хоть и бизнесмен, а человек положительный. К тестю своему, во всяком случае, относится, как и не всякий сын к отцу родному... Живет старик Евтеев в том доме, как у Христа за пазухой. И вот на тебе! Отплатил, что называется.

Конечно, когда слухи о том, чем занимается старик Евтеев на станции, достигли ушей дочери и зятя, произошел небольшой скандалчик, не без того. Понятное дело, что дочке с зятем обидно: они для отца все, а он им вон какую подлянку кинул! Но старику Евтееву хоть бы хны и как с гуся вода: каждое утро – шашь за порог и, знамо дело, на станцию.

Да и поселковые, как только прознали обо всем, старика стыдили и призывали. Они же знают, – все у него дома тип-топ. Зятя, к слову, в поселке уважают. Он хоть из «новых», да не из тех. Всего своим трудом и усердием достиг. Если помочь кому – никогда не откажет. Но тоже все без толку. Поселковых старик Евтеев даже не слушает. А если допекут, то и сцену закатить может, на это он мастер.

И милиционеры из линейного отделения давно уже махнули на старика рукой. А раньше, бывало, подходили, и даже пытались гнать. Но вот именно что – пытались. С таким сладить, – поди, попробуй! Такой скандалище закатит, что мама не горюй!

Это, кстати, они, эрудиты хреновы, старику Евтееву такое прозвище дали – «станционный смотритель». Как будто делать им больше нечего.

*2001 г.*

## Карлсон

Уже при первой встрече с Карлсоном мне показалось, что даже при ходьбе он стиснут незримыми стенами, – точно перед тем, как выйти из дому, он влез в невидимый узкий ящик и, не смотря на все неудобство, передвигается по улицам в нем. Наподобие улитки... Хотя сравнение с улиткой надо признать неудачным. Поскольку улитка при движении хотя бы часть своего тела и голову из ракушки выставляет. А Карлсон даже при ходьбе полностью упрятан в свой невидимый ящик. Сколько знаю Карлсона, до сих пор не перестаю удивляться, – а каким же, собственно, образом, он передвигается? Вот он идет по улице, ноги только что не мелькают, но... Как это происходит? Загадка...

Внешность Карлсона самая непримечательная. Черные, косо зачесанные волосы, будто маслом смазанные. Большая подкова густых басурманских усов. Крупная круглая голова на короткой толстой шее. Словом, ничего особенного. Пройдешь мимо и даже не заметишь. Если на беду свою не поймашь взгляд его черных, блестящих и малоподвижных глаз.

Даже если Карлсон смотрит на вас открыто, кажется, что глядит он исподлобья, подозрительно и в то же время с каким-то подвохом. Как только вы заметите на себе его взгляд, тут же, не сомневаясь, вам почудится едкая ухмылочка под густыми усами. Из тех, какими люди обычно предваряют какое-либо ироничное замечание. И заметив которую, вы тут же начинаете искать его причину. Незаметно оглянете себя, например. А вдруг какой непорядок с одеждой? Брюки, скажем, в шагу разошлись. Или ширинка... того... Ну, вы понимаете. Но спустя несколько секунд выяснится, что с одеждой у вас все в порядке.

Тогда вы быстро прокрутите в памяти свои последние фразы. С тем, чтобы вспомнить, – а не лягнули вы какую-либо глупость? Но нет, – и с этим как будто бы все в порядке... Тогда что же, недоумеваете вы, могло вызвать этот взгляд? Ведь все, вроде бы, нормально... А главное – молчит. Смотрит на вас с неприкрытой ехидцей – и молчит. Какого черта?!

Тогда вы прибегаете к небольшой хитрости. Точно невзначай вы спрашиваете Карлсона о чем-либо вполне безобидном. Например, интересуетесь его делами (которые вам, если честно, совсем неинтересны). Вызываете, одним словом, на разговор. Дабы в процессе беседы незаметно выяснить причину этого взгляда. Но стоит только Карлсону открыть рот, как вы снова изумлены.

Голос-то у Карлсона – неуверенный, жалобный, плаксивый. С такой интонацией в голосе что ни произнеси, – все глупостью покажется. Проговаривая слова, Карлсон точно извиняется за то, что, вообще, рот открыть посмел! Вы уже хмуритесь, недоумевая, – а каким образом подобная чушь могла прийти вам в голову?!... И тут же снова ловите давешний взгляд.

В общем, круг замыкается. Глаза Карлсона смотрят на вас с прежним выражением. Два спокойных глаза снайпера в узкой амбразуре. Под усами вам опять чудится ехидная ухмылка... Хотя и нет ее, скорее всего. Это вы уже понимаете. То есть, вы уже прекрасно понимаете, что все ваши переживания – всего лишь следствие вашей мнительности. Но и поделать с собою вы, тем не менее, ничего не можете.

И вот весь он, Карлсон, состоит из подобных контрастов. Облик не сходится с взглядом. Взгляд – с голосом... Не человек, словом, а сплошная загадка.

«Счастье – это когда утром с радостью идешь на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой». Такую нехитрую формулу человеческого счастья услышал Карлсон лет в семнадцать. Если разобраться, – в общем и целом верную. Как известно, человеческое счастье заключается не в деньгах. И даже не в их количестве... Купить, говорят, можно все. Но все ли?

Реализовать на практике эту формулу, – с такой установкой Карлсон вступил во взрослую жизнь. И все бы ничего, но Карлсон совершил ошибку при выборе стратегии. Единственную,

но роковую. Он почему-то решил, что главенство в этой формуле принадлежит первой составной. Тогда как связаны они между собой неразрывно. Настолько, что, жертвуя одной из них, даже временно, ты изначально обрекаешь себя на поражение.

Карлсон решил, что первым делом ему надо стать успешным человеком. Для чего следует получить высшее образование. Любимое дело в его представлении было неразрывно связано с дипломом о высшем образовании. И с полученной при его помощи выгодной должностью. Что при известном усердии поможет через некоторое время достичь определенного положения в обществе. После чего вторая часть его формулы – красивая, длинноногая, – приложится к первой, как нечто само собой разумеющееся.

В том, что Карлсон пришел к такому выводу, я думаю, нет ничего удивительного. Как и в том, что идеалом женской красоты для него оказались длинноногие красотки. Вернее – эталоном... Телевидение сформировало целое поколение таких людей.

Красивые, длинноногие выбирали людей успешных. Карлсон это видел. Как видел и то, что остальным доставался товар поплотнее. Случались, конечно, исключения, не без того. Но они только подтверждали общую тенденцию. Чтобы стать обладателем телевизионного эталона, надо было реализовать первую часть своей программы. За что и взялся Карлсон, на время позабыв о второй составной своей формулы.

Пять лет после окончания школы Карлсон штурмовал медицинский институт. С двухлетним перерывом на службу в армии. К медицине он чувствовал влечение с детства. И даже больше того, – видел в этом свое призвание. Во всяком случае, считал, что именно на этом поприще его ждет успех. Идеализм странным образом сочетался в Карлсоне с прагматизмом.

Но тут-то и поджидала Карлсона первая неудача. В чем, несомненно, повинен был его голос.

В то время Карлсон еще не носил на себе метафизический ящик, о котором я говорил в начале. Случалось, конечно, изредка, что Карлсон влезал в него, но это была всего лишь реакция на мелкие неудачи, не более. Да и с голосом, с интонацией, все у него было в порядке. Вернее – почти.

При сильном волнении Карлсон начинал заикаться. Хотя заикой от природы он не был. Заикание его было следствием одного несчастного случая, произошедшего в раннем детстве. К тому же, от природы Карлсон был человеком мнительным. Пожалуй, даже чересчур. Стоило собеседнику хотя бы изменить интонацию, как Карлсону чудилось невесть что. Он терялся, краснел, начинал мямлить...

Экзаменаторы в большинстве своем люди усталые и невнимательные. И не сказать, чтобы от природы они были людьми злыми или мстительными. Все гораздо проще. Экзаменаторам нет никакого дела до психологических проблем абитуриентов. Они пресыщены разнообразием характеров и лиц молодых людей. А кроме того, – у всякого из них есть своя маленькая личная жизнь. Вместить в которую большой мир не получится при всем желании.

Стоило только очередному экзаменатору невзначай улыбнуться или взглянуть на Карлсона искоса, как тот моментально терялся и начинал заикаться. Хотя сдаваемый предмет Карлсон всегда знал назубок. Что подтверждалось двумя, а то и тремя листками, испи-санными его убористым почерком. Но экзаменатор на эти черновики внимания не обращал. Экзаменатор глядел на Карлсона. Слыша заикание и видя испуганное выражение на лице абитуриента, экзаменатор невольно улыбался. Карлсон при виде улыбки экзаменатора терялся еще больше. Усугубляя тем самым свое и без того нелегкое положение. К заиканию прибавлялись длинные паузы. Карлсон начинал мямлить, мычать... Экзаменатор вздыхал, рука его тянулась к экзаменационному листу. С тем, чтобы вывести там неудовлетворительную оценку. Карлсон обречено умолкал...

Только в первый раз Карлсону удалось сдать все экзамены. Но баллов для поступления в институт, к сожалению, не хватило. В последующем его останавливали на первом или втором предмете. Чаще – на первом.

Карлсон, конечно же, понимал, в чем его беда. Более того, он приложил массу усилий, чтобы избавиться от комплекса. Чего только Карлсон не перепробовал, чтобы изжить свой изъясн! К каким только методам не прибегал! Самым экзотичным из которых был такой.

В какой-то газете Карлсон вычитал, что французские полицейские особым способом тренируют почти нечеловеческий по строгости взгляд. Одной только силой которого можно остановить человека, не прибегая к более жестким мерам воздействия.

Делают это они так. Встанут перед зеркалом и часами глядят себе в глаза, представляя вместо своего лица физиономию преступника. Ну, или мелкого правонарушителя. Глядят сурово, как и должно смотреть на злоумышленника. Это, вроде бы, даже входит в перечень необходимых тренировок французских полицейских, – наряду со стрельбой из оружия и рукопашным боем, вождением автомобиля и умением оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.

Тренировка взгляда, при всей кажущейся смехотворности, думается, дело все-таки небесполезное. Весьма часто и очень многое зависит от того, сумел ли ты взглянуть в глаза своему противнику или нет. Хотя бы взглянуть... А уже от этого зависит, сумеешь ли ты навязать сопернику свою волю. Даже если у тебя ее нет. В этом отношении и хорош, видимо, наработанный долгими тренировками строгий взгляд. Нет у тебя крепкой воли, – зато есть суровый взгляд. Который эту самую волю предполагает... Во всяком случае, Карлсон пришел к такому выводу.

Копируя французских полицейских, Карлсон простаивал перед зеркалом часами. В то время, конечно, когда дома никого не было. Глядя в зеркало, Карлсон видел лица экзаменаторов. Вернее, не лица, а лицо одного из них, особенно ненавистного. Этот экзаменатор, сорокалетний ехидный человечек с лицом лысеющего младенца, запомнился Карлсону навсегда. Именно в этом экзаменаторе Карлсон видел источник всех своих бед. Именно его он ненавидел больше остальных. Но больше, все-таки, Карлсон ненавидел взгляд этого экзаменатора, – ироничный, насмешливый, едкий.

В результате тренировок взгляд Карлсона превратился в точную копию взгляда экзаменатора-мучителя. Тогда как голос Карлсона, наоборот, стал плаксивым, жалобным, неуверенным. Это довольно трудно объяснить, но я попробую.

Методику французских ажанов Карлсон несколько усложнил. Глядя в свои собственные глаза, он отвечал на самим же собой заданные вопросы. Но тренировки не прошли даром: взгляд Карлсона постепенно приобрел все те характерные черты, что были присущи взгляду ненавистного ему экзаменатора. Вымолвить что-либо путное под этим взглядом, – как это ни парадоксально, своим собственным взглядом! – Карлсон просто не мог. Он терялся, точно так же, как это было с ним на настоящих экзаменах.

На шестой год с мечтой об успешности было покончено. Карлсон понял, что ничего со своей бедой поделать не может. Слишком уж глубоко все это зашло. О чем ежеминутно напоминал наработанный часами длительных тренировок взгляд, – ехидный, ироничный, насмешливый. А, кроме того, голос, – жалобный, неуверенный, почти плаксивый.

Правда, не все еще, как будто, было потеряно. Ведь у Карлсона оставалась вторая часть его формулы. То есть, он мог найти любимую женщину. Или хотя бы попытаться. А затем, возможно, ко второй части формулы приложилась бы первая составная. До Карлсона наконец-то дошло, что любимая работа никоим образом не связана с высшим образованием. И уж тем более – с материальным достатком и социальным статусом. Это может совпасть, но и только. Можно работать простым слесарем и в то же время быть вполне счастливым человеком.

Вот здесь-то и проявилась ошибка, допущенная Карлсоном в семнадцать лет. Он слишком поздно понял, что его понимание второй составной формулы в корне не верно. Что дело вовсе не в навязанных извне эталонах красоты, а в чем-то большем. В том, что люди называют любовью. Которую Карлсон к двадцати шести потерял. То есть, не то чтобы потерял, а просто прошел мимо.

Это была соседка Карлсона. То есть, не буквально, по лестничной площадке, – Лена жила в соседнем подъезде, – но тем не менее. Карлсону она нравилась еще со школьных времен. (Нравилась – так это называл сам Карлсон). Хотя на самом деле это была настоящая любовь. Причем, – небезответная. Но в семнадцать лет Карлсону показалось обидным, что вторая часть формулы может быть реализована вот так легко. Ведь он изначально зарядил себя на длительную и упорную борьбу за собственное счастье. «Счастье, – глубокомысленно записал он юношеском дневнике, – никогда не дается легко. Оно есть результат долгой и упорной борьбы».

В семнадцать лет Карлсон рассудил, что в первую очередь необходимо закончить институт. А уже затем можно было подумать обо все остальном. Но Лена ждать Карлсона не стала. Тем более, что Карлсон в свои планы ее не посвятил. Она поступила так, как поступила бы на ее месте любая нормальная женщина. То есть, – вышла замуж.

В двадцать семь лет жизнь Карлсона превратилась в существование. И только борьба за это самое существование некоторым образом оживляла ее. Все-таки, времена, в которые довелось жить Карлсону, были очень интересные. А еще у хитромудрых китайцев самым страшным проклятием своим врагам считалось пожелание родиться в интересную эпоху.

У Карлсона не было любимой жены. И даже нелюбимой не было. (Хотя была любимая женщина. Увы, навсегда потерянная). И не было у него той работы, на которую, как он записал когда-то в своем дневнике, идешь утром с радостью.

Более того, – у него не было работы, на которую надо ходить утром. Потому что работал Карлсон охранником. Одержимый своей идеей, после службы в армии он устроился работать ночным сторожем. Только потому, что профессия эта предполагает минимум обязанностей. Зато оставляет массу свободного времени. Которое было необходимо Карлсону для подготовки к вступительным экзаменам.

Существует множество профессий, так или иначе связанных с ночным графиком работы. Например, работа оператора в котельных и насосных. Или, скажем, – дежурного электрика или слесаря. Но самой опасной среди подобного рода профессий надо признать работу ночного сторожа. Хотя опасна эта профессия вовсе не тем, что в любой момент ты можешь столкнуться с преступниками. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Главная опасность профессии ночного сторожа заключается в полном одиночестве и безделье, которые она предполагает. В тишине и одиночестве длинных ночных часов легче всего потерять ориентиры. Любые. Всем известно, что ночью очень легко заблудиться и сбиться даже со знакомой дороги. Но не все знают, что ночью еще легче заплутать в своей собственной душе.

Большую часть времени Карлсон слонялся по объекту. Вместо того, чтобы спать, как это делали охранники на соседних объектах. А территория цеха, который ему выпало охранять, была достаточно большой. Но, какой бы огромной она ни была, времени на работе у Карлсона оставалось в избытке. Времени, которое нечем было заполнить. Но которое можно было бы – заспать. А этого Карлсон, как человек ответственный, себе позволить не мог.

Это были очень длинные и очень трудные ночи. Порой они растягивались до бесконечности. Случалось, Карлсон задремывал, но тут же просыпался и, морщась от головной боли, шел на обход... И в одну из таких длинных, трудных ночей Карлсону вспомнился один вечер детства.

В детстве Карлсона часто бил отец, законченный алкоголик. Чуть не каждый вечер он приходил домой пьяный и бил всех подряд. Поочередно, – Карлсона, его маму, старшую



сестру... Для отца Карлсона это превратилось в некий вид спорта. Он просто физически не мог заснуть, пока кто-то из близких не получал взбучку.

Это было настолько жутко, что Карлсон, едва только заслышав характерные удары в дверь, тут же стремглав мчался к кровати и забивался под нее, в самый дальний угол. Обычно под любой кроватью всегда полно пыли. Но под той кроватью, куда нырял Карлсон, спасаясь от отца-алкоголика, пыли никогда не было.

Именно из-за отца Карлсон начал заикаться. Произошло это в тот вечер, когда отец решил достать своего сынишку из-под кровати при помощи швабры. И именно в тот вечер, когда Карлсон, шестилетний еще мальчонка, увертывался от швабры, в голову ему пришла спасительная идея. Ерзая по полу, он вдруг понял, что если заберется в узкий, как раз по своему росту ящик, то отец не сможет его достать.

Вскоре родители Карлсона развелись и он вместе с матерью и старшей сестрой переехал в соседний городок. Но та, детская, не идея даже, а скорее мечта крепко засела где-то очень глубоко в подсознании Карлсона. Чтобы проявиться спустя годы...

Да, чуть было не забыл... А почему, собственно, – Карлсон? Ведь на самом-то деле его зовут Максим.

Карлсоном его называют мать и незамужняя старшая сестра, с которыми он проживает в одной квартире. Называют они Максима этим прозвищем за его фантастическую способность в один, много в два присеста уничтожить трехлитровую банку варенья, неважно какого. Если вы помните, именно такой способностью отличался герой небезызвестной сказки Астрид Линдгрен.

Только они, мать с сестрой, лучше всех знают, кто на самом деле скрывается в том ящике, который Карлсон всегда носит на себе. И который раздвигается до размеров квартиры, впуская их обеих внутрь, когда он приходит домой...

А посторонним в этот ящик вход строго воспрещен.

*2002 г.*

## Когда вернётся старший брат...

Ослепительный кулак солнца бьет прямо в лицо. Бьет наотмашь, – так, что невольно прядешь глаза за узкими полосками век. Сжимаешь их до последнего предела, за которым, – радужная мгла и мерцающие кольца. Они бултыхаются перед глазами, уплывают куда-то и вновь возвращаются, чтобы продолжить свой медлительный танец... Открываю глаза и вижу все тот же пейзаж, полный ярких красок. У нас таких нет.

Здесь всюду, – солнце. И только оно. Может быть, поэтому у местных жесткий прищур глаз. Они привыкли к силе солнца, – своего солнца. Потому что даже оно на их стороне. Так же, как эта долгая равнина, в которую горизонтом врезаны пепельно-серые горы. Как это блеклое акварельное небо надо мной. Как этот раскаленный солнцем валун, к которому я приставил автомат.

Медленно переваливаюсь на спину, кладу голову на руку, и слышу голос Бабичева:

– Чельцов! Отставить жрать!

– Ну, чего еще? – бубнит Чельцов с набитым ртом.

– Рожки набей, долдон! Стрелять тушенкой будешь!? – Бабичев держит паузу. Это для нас. – Или, – развернешься и бзданешь из всех орудий?!

Все, кто слышит, – смеются. Я – тоже. Но как-то невесело у нас это выходит. Без обычного энтузиазма... Все, что связывает нас с тем миром, почти потусторонним, – это смех. Хотя и не без доли истерики. И потому, должно быть, мы всегда с готовностью отзываемся на шутку. Но только не сегодня.

Второй день ни у кого нет настроения. Потому что он все еще лежит там. В пятидесяти метрах от блокпоста. И хотелось бы забыть, но ветер, безжалостный ветер сносит его запах на меня. И на всех остальных. Мертвые везде плохо пахнут. Но здесь, – особенно...

Поворачиваю голову направо и вижу: Бабичев подошел к Чельцову и выжидательно смотрит на него. Чельцов что-то бурчит под нос, но банку с тушенкой в сторону отставил. Только жирные губы ткнул в рукав, подобрал с земли три пустых автоматных рожка, и поплелся в будку. Автомат оставил на месте.

– Боец! – кричит Бабичев. – Кругом!

– Ну?

– Я тебе дам – ну. Личное оружие...

– Да понял я, понял... – Чельцов возвращается за автоматом. Рука Бабичева сжимается в кулак, но рядом из ниоткуда возникает старший лейтенант Кравцов. Как и всегда... Без него – досталось бы Чельцову.

Кравцов – человек странный. Старше меня на десять лет, а такое ощущение, что на целую вечность. Над блокпостом вместо российского триколора висит красный флаг. Серпастый, молоткастый. Это он повесил. Начинать он служить еще в Советской Армии. И до сих пор – старлей. Характер.

В первый же день он сказал нам:

– Ребята, у вас нет Родины. У вас ее отняли. Так что воевать вам не за что. Поэтому воюйте за себя и за того, кто рядом...

Даже местные уважают Кравцова. Не боятся, но – уважают. Только здесь я понял, что это такое.

– Ой, блин, – наберут детей... – это Бабичев пнул консервную банку, громко выругался, и оглядывается по сторонам: кого бы еще прихватить...

– Отставить, Бабичев, – говорит Кравцов.

– Есть... – поворачивается, хочет уйти.

– Товарищ старший лейтенант.

– Есть, товарищ старший лейтенант!

Я снова закрываю глаза. Думаю о Ленке. Вернее, пытаюсь думать. О последнем ее письме. Она пишет, что как только я приеду, она самолично сбрит мне усы. Спрашивает, зачем я их отпустил? Что они совершенно мне не идут. И что они... Напишу, что бороду отращу. Как у местных... Она поймет. У нас с ней свой язык. Посмеется и напишет... Странно, но я забыл, – какая она. Глаза забыл, лицо... Только голос помню. Но и то не уверен, что это – ее голос.

Черная тень придавила меня.

– Лежишь? – спрашивает Бабичев. И глядит на меня слюдяными глазами. Они, как стена, за ними не видно человека. Хотя, осталось ли в нем хоть что-то человеческое? А во мне?

Ветер сносит запах на меня. Бабичев приказал, и мы расстреляли мертвое тело. И оно лежит там вторые сутки. Вернее, – то, что от него осталось. То, что можно только подобрать, соскрести с земли. Лопатами... Что может остаться от человеческого тела, если пятнадцать человек вобьют в него по автоматному рожку? Пятнадцать на тридцать... Эти цифры очень легко перемножить. Но нехитрое арифметическое действие вдруг становится для меня невероятно трудным. Потому что вместо цифр я вижу, как колотится и бьется разрываемое пулями мертвое тело. Крепкая плоть дрябнет, превращаясь в бесформенное месиво. Рваное крошево летит... И еще я вижу – сплетенную из сухожилий руку Бабичева. На короткие мгновения она становится продолжением шеи Чельцова. Чельцов даже не сопротивляется. Торопливо передергивает затвор, зажмурил глаза, стреляет...

Этого они нам не простят. Они и простой смерти своих не прощают, но такой – не простят вдвойне. Плохо, что с нами не было Кравцова. Будь он с нами, этого не случилось бы.

– Лежу... – отвечаю Бабичеву.

В моем голосе нет вызова. Вообще, – нет никаких эмоций. Лишь равнодушие. Я вижу как Бабичев медленно вздымает грудь, как отводит челюсть, – для крика. Но я смотрю ему прямо в глаза. Не каждый способен выдержать взгляд Бабичева. У него взгляд тигра, – сквозь тебя. Словно ты стеклянный. Словно за тобой есть что-то более интересное, чем ты сам. Наверное, поэтому Бабичева боятся. Даже местные. Боятся и уважают... Впрочем, часто это одно и то же. И это я понял только здесь.

Я смотрю прямо в его глаза. И вдруг вижу, что они – меняются. Что-то выплывает из них. Что-то похожее на человеческое. Медленно, тягуче – как в кино – Бабичев закрывает рот. Поворачивается и уходит. Так ничего и не сказав...

Рука моя лежит на прикладе автомата. Как она очутилась там – я не знаю. Но я все равно выиграл. Пусть даже и таким образом.

Я снова закрываю глаза. Я выиграл у Бабичева. Впервые. Но эта маленькая победа меня не радует. Кажется, я совсем разучился радоваться. Я все меньше – человек. И все больше – придаток к автомату. Кто-то должен нажимать на спусковой крючок...

И снова я один под солнцем. Если не считать того, что вокруг меня – все наши. Кто где. Сегодня не слышно ни смеха, ни разговоров. Ничего не слышно. Только редкие реплики. Все подавлены. Молчат. И молчат об одном. И я молчу. Как-то пусто внутри... Безразличие, – наверное, так называется то, что творится со мной. У меня нет никаких желаний. Даже самого естественного, – вернуться домой... Увидеть Ленку. Только тупое и ровное ожидание неизвестно чего. Хотя все известно наперед. Машина, шмон... Ночью – дежурный обстрел. Правда, сегодня почему-то мало машин. С утра их было всего две. И одна из них – штабной «Уазик»... Наш блокпост, конечно, дыра дырой, но обычно бывает куда больше машин, чем сегодня.

– Королев! – доносится до меня голос Бабичева. – Проверь дуру на броне, мать твою!

Он и всегда зверь, Бабичев, но сегодня – особенно. Ищет, на ком бы сорвать злость. Никто, конечно, не сказал Кравцову, кто отдал приказ, но он и так это знает. Вот только... Случись это неделю назад, все было бы по-другому. С лейтенантом что-то случилось. Мне кажется,

он умер. Хотя еще жив. Но жив – это видимость. Все больше он глушит водку. Не пьянея. И все крутит, крутит Шевчука. Одну песню. Раз за разом. «Рожденный в СССР»

Поднимаю голову, смотрю, как Ванька Королев нехотя, вразвалочку подходит к БТРу, лезет внутрь. Я сажусь, подтягиваю ноги к груди, потом вытягиваю их, а сам откидываюсь спиной на валун. Горячо, почти обжигает...

Плавно и медлительно движется длинное жало пулемета. Коротко и глухо отстучала очередь. Колотится, затихая, недолгое эхо. Его перекрывает приглушенный хлопок откуда-то сбоку. БТР вздрагивает, неярко блеснуло изнутри, из открытых люков рванул оглушительный воздух, и следом, словно по команде, со всех сторон начинают стрелять.

Молотят со всех сторон, автоматы и пулеметы, очереди то сливаются в одну, то распадаются. Слышу, чувствую, – щелканье по камню. Словно паук пробежал по голой спине, наполнив ее отвратительной мелкой дрожью.

Автомат уже в руках. Даже не заметил, как он там очутился. Впрочем, в бою мало что замечаешь. Поначалу я пытался вспомнить. Хоть что-то. Не получается. Все – слишком быстро. Думать не успеваешь. Одни реакции. Вернее – инстинкты.

Дергаю затвор, но стрелять не спешу. Если это обычный обстрел, толку от моей пальбы никакой. На том конце, – я знаю, – лупят в белый свет, что в копеечку. Точно так же как и мы. Пугают... Или снайпера прикрывают. Если же начнется по-настоящему... «Бех» чадит, и нет Королева. Гляжу без надежды. А может... Жаркий злой шлепок в лицо. Глохну. Сквозь дым вижу странно осевший в песок корпус БТРа. В нем плещется пламя, рвется наружу. Башенка скособочилась, пижонской фуражкой лежит на броне... Не высовывая головы, даю короткую очередь в их сторону. Потом длинную. Еще.

Что-то кричит Бабичев, кому-то машет рукой. Оборачиваюсь: Чельцов выскочил из будки и бежит к своему месту.

– Назад!!! Назад, дурак!!! – слышу свой крик. Слышу, – изнутри. Но Чельцов, кажется, не слышит, он бежит, даже не пригибаясь, и вдруг натывается грудью на невидимую преграду. Его подбрасывает, взлетают ноги, молотя воздух в поисках утраченной опоры и, взбив облачко сероватой пыли, он ухает на спину. Рядом, – подпрыгивая и переворачиваясь, падает автомат. И два автоматных рожка.

Прыжком – на ноги, бегу к Чельцову. Спотыкаюсь, загребая руками песок, падаю. Воздух надо мной с жадным металлическим жужжанием вывинчивают пули. Все ближе. Все ниже. Коротко бахнула мина. Далеко... Только сыпанула песком... Кажется – по настоящему. Если мины – по-настоящему. Что-то кричит Бабичев, не разобрать... Ползу. Ткнулся в мягкое и мокрое.

– Чельцов! – толкаю. – Чельцов!

Тяжелым студнем под моей рукой. Ворохнулся – замер. Ворохнулся – замер... Поднимаю голову, гляжу в лицо. На нем: ни боли, ни испуга, – лишь удивление. Темная полоска краешком рта ползет.

– Чельцов!..

Тяну. Одной рукой. Туда – к блокам. Здесь ему хана... Ма-ма-а-а!!!

\*\*\*

По глазам бегают желтое. Теплое. Сперва – темное, потом – желтое. Открываю. Это солнышко. Оно всегда с утра будит. Если есть. Если его нет, тогда будит мама. Или сам просыпаюсь. Черные листья движутся, сквозь них солнышко. За окошком.

Перевернулся на тот бок, спрятался от солнца, скрипит кровать. На стене – цветочки. Разные. Синие. Белые. Желтое и темное по ним бегают. Закрыв глаза. Потому что в комнату легкие шаги. Приблизилась. Мягкая ладонь на плечо:

– Алексей, вставай.

Мама почему-то всегда знает, сплю я или уже проснулся. Притворяюсь я или сплю взаправду. Обмануть ее нельзя. Даже глаза закрыты, а она знает, – не сплю. Она говорит, – человек спит, а глаза у него смотрят сны. Двигаются. А если не спит, – стоят на месте.

– Не хочу! – говорю я. – Мам, я не хочу!

– А что нам дядя Доктор сказал?

Что сказал дядя Доктор, я не помню. Но если дядя Доктор сказал, значит надо. Встаю. Сажусь на кровати, ставлю ноги на теплый желтый квадратик. А мама уходит. Она всегда утром так, – встану, отворачивается и быстро уходит... Надеваю брюки, рубашечку. Только пуговички не застегиваю. Я еще не умею застегивать. Не научился. У меня всегда косо получается. И тогда рубашка мешает, хватается за шею.

Мама на кухне застегивает рубашку. Быстро застегивает, на меня не смотрит. Потом ставит чай передо мной. В моей любимой чашке. На ней слоник синий. Смешной. Поставил ногу на мячик и стоит. Всегда стоит. В кармане у меня трубочка. Вчера пил сок, осталась. Через нее интересно пить чай. И вообще пить интересно. Долго. А можно пузыри пускать. Дунешь туда, и пузыри идут. Разные. Большие. И маленькие. И громко.

– Не балуйся, Алексей, – говорит мама. – Ты уже взрослый.

– Я только немножечко, мама, – говорю.

Мама вздыхает и ничего не говорит. Отворачивается. Что-то готовит. Тесто. Оно серое, вздыхает. Мама давит, оно вздыхает.

– Скоро придет папа, и вы пойдете гулять, – говорит. – Алексей, перестань баловаться.

Я перестаю. Просто пью чай.

– Наташка! – кричит мама. – Уведи Алексея! Мне мясо надо перекрутить на фарш.

– Мама, мы занимаемся, – кричит Наташка. Она в своей комнате.

– Наташка!

– Иду...

Наташка приходит, берет за руку, уводит. Она взрослая. Она уже в институт ходит. А я даже в школу не пошел еще. Когда вырасту, тогда пойду. Это папа сказал.

В комнате Наташки – Лена. Это ее подруга. Они учатся вместе. И сейчас учатся. Это называется – готовиться к экзаменам.

– Здравствуй... – Лена молчит, смотрит под ноги себе. – Здравствуй, Алексей.

Я здороваюсь, сажусь, смотрю. Наташка дала мне игрушку, а сами отвернулись. Обычно я с ними не сижу, только когда больше никого дома нет, но сейчас сижу. Наташка не любит, когда Лена, и я им мешаю. Когда она одна, я не мешаю, а когда Лена – мешаю. Но сейчас на кухне мама крутит фарш. А когда она крутит фарш, я начинаю плакать и кричать. Почему – не знаю. Дядя Доктор что-то говорил маме, но я не помню, что он говорил. Когда он говорит, ничего не понятно. Но когда я гляжу на миску, где фарш, мне почему-то плохо. Особенно когда хрустит, а оттуда лезут красные веревки.

Наташка и Лена занимаются, на меня не смотрят. Лена тоже не смотрит. Хотя на самом деле смотрит. Я что, не вижу? Она как будто смотрит в книжку, а сама смотрит на меня. Она не злая, Лена. Хорошая. Просто...

– Ну, Лешка! Ну, хватит! Мы же занимаемся! – Наташка молчит, смотрит. Смотрит, как будто только что проснулась. И ничего не понимает. Я когда проснусь, тоже ничего не понимаю.

– Алексей... – говорит потом. – Не мешай. А то отберу котенка.

Это я нечаянно нажал на котенка. На него нажимаешь, и он мяукает. Совсем как настоящий. А если не нажимаешь, молчит. Он пушистый, котенок, только ненастоящий.

А я вот что знаю. На столе у Наташки фотография. Только сейчас она перевернута. Когда я захожу в комнату, Наташка всегда кладет ее лицом вниз. Только когда Наташки нет, я могу зайти и посмотреть фотографию. Это фотография старшего брата. Я раньше думал, что это

просто так дядька, а это – старший брат. Это мне потом сказали. Его сейчас нет дома. Он в армии служит. А когда армия кончится, он приедет домой, и будет с нами жить. Прямо в моей комнате. Это и папа, и мама так говорят. Когда он ушел в армию, я был такой маленький, что ничего не помнил. Помню – папа. Помню – мама. Помню – Наташка. А брата совсем не помню. Вот какой я был маленький. Я даже не знаю, какой он. Но он должен скоро приехать, и тогда я узнаю, какой он.

Зато я вот что знаю, а вам все равно не скажу. Когда никого не было, я нашел книжку. А в ней фотографии. Много. И везде – старший брат. Один. Или с папой и мамой. Или с Наташкой. Или с Леной. Большой и маленький. Когда маленький – смешной. Как я. Мама потом плакала, а книжку у меня забрали. Сказали – нельзя. Мне ведь много чего нельзя. Потому что я еще маленький. Это папа с мамой так говорят. Они меня не ругают, только говорят, что так нельзя. Так нельзя, и так тоже нельзя. Я уже много чего знаю, чего нельзя.

– Алексей, – мама заходит, – пойдем со мной.

– Мам! – говорю. – Мне здесь хочется!

– Мам! – говорит Наташка.

– Алексей... – говорит мама. – Девочкам надо заниматься. У них скоро экзамены. А ты им мешаешь... А я тебе что-нибудь вкусненькое дам.

Вкусненькое – это хорошо. Я люблю, когда вкусненькое.

Мама закрывает дверь, но я слышу, как Лена говорит:

– Я так больше не могу. Наташка... Не могу!

Мама вздрогнула, остановилась, рукой сильно сжала, потом быстро пошли дальше. А рукой все равно сильно держит. Рука у нее маленькая. Но сильно держит.

На кухне мама дает шоколадку. Маленькую только, жалко. Но тоже хорошо. Но лучше бы большую. Есть еще большие шоколадки, на всех хватает. Я бы тогда с Наташкой поделился. И даже с Ленкой. Но шоколадка маленькая, на всех не хватит.

Шоколадку я скушал, а фантик спрятал. У меня таких фантиков – целая коробка. Я даже могу кому-нибудь дать, вот их сколько много.

– Алексей, – говорит мама. – Иди и заправь свою койку.

Это я уже могу. Научился.

Я ухожу в свою комнату. Раньше здесь не только я жил, но еще старший брат. Только я не помню, мне сказали, а я тогда маленький был, я уже говорил. А сейчас я тут живу один. Но старший брат скоро вернется, и мы снова будем жить в одной комнате вместе.

Я смотрю на гитару. Она висит на стене. Если тронуть – гудит. Там такие нитки, струны называются. Книжные полки рядом висят. Книг очень много. Разные. Письменный стол с ящиками. Только мне трогать нельзя. А то он ругаться будет, когда приедет насовсем. Папа с мамой почему-то не любят рассказывать про старшего брата. Сколько не прошу, – мало рассказывают. А мне интересно – какой он. Наверное, – сильный. И добрый.

Заправил кровать, а потом начинаю играть. Смотрю фантики. Но это скучно. Машинки – тоже скучно. А вот на улице – хорошо. Там солнце. Но мне нельзя одному гулять. Я еще маленький.

Заходит в комнату папа, улыбается. Он уже пришел. Значит, мы пойдем гулять. Когда он приходит, мы всегда идем гулять. Если он работает, – идем вечером. Если не работает, – идем утром. Утром гулять лучше. Не знаю почему, но лучше. Нравится.

– Пойдем гулять, Алексей? – говорит.

– Ага, – говорю.

– Только сначала игрушки убери, хорошо?

Гулять хорошо. Я всегда с папой гуляю. Иногда – с мамой. С Наташкой никогда. Сколько ей говорили, а она не хочет. Наверное, стесняется, что я такой маленький. Как будто я виноват, что такой маленький. Вот ничего, когда вернется старший брат, я с ним пойду гулять.

Потом мы идем с папой в прихожую. У Наташки дверь закрыта. Они занимаются. И всегда дверь закрыта. А сейчас там кто-то плачет. Это Лена, как будто я не знаю. Она вообще плакса. Чуть что, – сразу плачет.

Я надеваю обувь. Хорошо, что мне купили ботинки без шнурков. И теперь я могу надевать ботинки сам. Когда шнурки – не могу. Не научился.

– Долго будете? – говорит мама.

– Как получится.

Мама глядит на дверь Наташкину.

– Зачем мы девочку мучаем, Иван?

– Перестань...

– Все бесполезно...

– Перестань, прошу... Потом.

Мама молчит, потом уходит. Голову опустила. А мы с папой выходим на улицу. Перед подъездом сидят старушки. Они всегда здесь сидят. Когда выходим – всегда. А я даже из окна сколько раз смотрел, – и то сидят. Говорят всякие глупости. Это папа так говорит, что они всякие глупости говорят.

– Не приведи, Господи... – слышу. Папа сильно жмет рукой. У него большая рука, больше чем у мамы. Он не любит этих старушек. А зачем – не знаю. Они же старенькие. Так мама говорит.

Проходим мимо детской площадки. Там играют дети. Но мне с ними играть нельзя. Я сколько раз хотел с ними поиграть, а они не хотят. Говорят – уходи. А одна девочка даже испугалась один раз, и заплакала, когда я подошел. А потом пришел ее папа, и долго ругался. А потом пришел мой папа, и тоже стал ругаться с ним. Это чтобы той девочки папа на меня не ругался. Я же не хотел. Я только поиграть хотел. Я же не виноват, что она испугалась.

Я гляжу на папу. Вижу, как блестит солнышко у него на голове. Прямо наверху. У папы мало волос на голове. Только по бокам. Но и там мало. А там, где у всех волосы – пусто. Это тоже как-то называется, только я забыл. Вчера знал, а сегодня забыл. Потом вспомню. У взрослых вон сколько слов, сразу не запомнишь. Солнце туда-сюда катается по голове, когда папа идет, и мне смешно.

Папу остановил знакомый. Здравается. И со мной тоже. Только с папой за руку, а со мной нет. Смотрит на меня, потом на папу.

Они стоят и разговаривают. Рядом блестит, и я отошел туда. Это денежка. Если такую дать тете в магазине, тогда она что-то даст. Жвачку. Или еще что-нибудь. Я один раз так сделал.

Они поговорили, папа подошел ко мне.

– Ну, что там, Алексей? – говорит. – Пойдем дальше?

– Пойдем, – говорю. И встаю. А денежку я уже спрятал. Пусть в кармане лежит. Я потом ее тете в магазине дам. А она мне – жвачку. Или что-нибудь другое.

Папа протягивает руку, чтобы взять меня за руку, но потом краснеет и переходит на другую сторону. Потому что с той стороны у меня руки нет. Ее всегда не было. До половины есть, а потом нет. Папа и мама говорят – несчастный случай. Это так называется. Я только не помню. Сразу помню, что у меня руки на той стороне не было. У всех детей есть, и у всех людей есть, а у меня нет. Несчастный случай. Я уже не замечаю. Только трудно одной рукой. А так ничего.

Навстречу нам идет дядя в пятнистой одежде, как у старшего брата на фотографии. Это называется – форма. Такую одежду в армии носят, я уже знаю. Когда я вырасту и стану большой, я тоже пойду в армию, и тоже буду носить такую одежду. И стану совсем как старший брат.

Старший брат очень похож на меня. Я сколько раз, когда один дома был, смотрел на фотографию. Только у него усы. И еще нет красных полосок на щеке и на лбу, как у меня. Я трогаю на щеке. Она глубокая. Непрямая. Так – и сразу так. В другую сторону. Это опять несчастный случай. А еще – хрустит рядом. Это щетина. Это так называется. Такие жесткие волосы, они



на щеке растут, каждый раз надо брить. Это тоже так называется, – брить. Папа берет бритву и бреет. Потому что сам я не умею. Но потом научусь. А если не научусь, – тогда старший брат.

Ой, как я хочу, чтобы старший брат вернулся! Когда он вернется, мы с ним пойдем гулять на улицу. Как сейчас с папой. Он возьмет меня за руку, и все будут глядеть на него. И я тоже буду глядеть на него. Какой он красивый и сильный. Только бы он вернулся поскорее!

*2002 г.*

## Шапокляк

Вот уже с месяц по утрам дом остается без воды. Большой стоквартирный дом. И каждое утро мужикам приходится спускаться в подвал, чтобы отвернуть перекрытую центральную задвижку. Они собираются возле первого подъезда, молча и нервно закуривают, и нехотя спускаются в подвал, заранее зная, что там, в подвальной полутьме, возле забранного пыльным стеклом окошечка будет стоять он, – деда Веня. Или – Шапокляк, как его прозвали совсем недавно. А именно – после того, как он начал проказничать.

Будет стоять он, жалкий и неприкаянный, будет посапывать, пристыжено глядя в земляной пол подвала... И даже нет-нет, да колупнет землю носком ботинка, как это делают дошколята, когда их поймают на какой-либо шалости.

Что будет дальше, мужикам тоже наперед известно. Петруха Семенов, мужичок небольшой, но опасный, непременно подойдет к старику, поднимет руку и замахнет, но бить, конечно же, не станет. Скажет только что-нибудь навроде:

– Эх, деда Веня, деда Веня... Вот дать бы тебе по шее! Да не трогаю я стариков...

Тут деда Веня, конечно же, встрепетается и бодренько так ответит:

– И правильно делаешь, Петруха!!! А то ведь я и милицию вызвать могу, если что!

– Ми-ли-ци-ю... – презрительно протянет один из мужиков, с натугой раскручивая штурвал задвижки. – Положим, что милицию мы и сами вызвать можем. Они тебя как раз на пятнадцать суток закроют за твои фокусы! Вот как тебе это понравится, деда Веня?

– И не стыдно тебе, деда Веня, на старости лет такими делами заниматься? – подхватит третий. – Даже пацаны наши дворовые, – уж на что башибузуки! – и то ведь до такого не додумались!

– Да ладно вам, робяты! – перебьет его деда Веня. – Ну, чего вы, в самом деле? Вот уж и пошутить нельзя...

– Ну, ничего себе у тебя шуточки! – всенепременно взорвется один из мужиков. – Да я на работу опаздываю по твоей милости!..

И в доказательство своих слов обнажит запястье и постучит указательным пальцем по циферблату наручных часов.

– Бутылка с меня, робяты! – ответит на это деда Веня и хитрым движением явит на свет бутылку, как правило, самого дешевого вина, а следом, – граненный, каких давно уже не выпускают, стакан.

Все, как водится, сплунут в сердцах, матюкнутся для порядка, и гуськом потянутся из подвала. И только татарин Рашид Калимуллин из первого подъезда, если ему не на работу, – он сантехником дежурным в городском коммунальном хозяйстве работает, сутки трудится, трое отдыхает, – помедлит и, глянув вослед остальным, вздохнет:

– Эхе-хе... Сопьюсь я с тобой, бабай...

– Да ну тебя, Рашид, – отмахнется деда Веня. – Ты тоже иногда скажешь... Тут и пить-то нечего!

– Не скажи, бабай, – незаметно сглатывая, произнесет Калимуллин. – Пить тут, действительно, нечего... Но ты сам посуди! На работе – наливают! Дома сию – тоже... В смысле – чуть у кого что с сантехникой, тоже ко мне бегут... А расплачиваются известно чем.

– Значит, уважают тебя люди...

– Ага, – откликнется Калимуллин, – уважают... Люди-то, может, и уважают. А вот Анька (это его жена) на меня волком глядит. И дети – туда же... – он помолчит и вдруг обречено махнет рукой. – Эх! Наливай! Да смотри – полную лей, бабай!!!

Деда Веня одним ловким движением сорвет зубами пробку с горлышка, и начнет колдовать над стаканом. Поочередно выпив, они помолчат, затем деда Веня обязательно пошутит:

– Хороший ты мужик, Рашид... Душевный... Хоть и татарин!  
На что Калимуллин отреагирует неизменным своим:  
– Ты, бабай, нас, татар, лучше не трогай!  
– Это еще почему?  
– Да потому что нас, татар, если хочешь знать, – два с половиной миллиарда на Земле!!!  
– Ты гляди-ко! – уважительно качнет головой деда Веня и, не вдаваясь в подробности, тут же наклонит бутылку над стаканом. – Ну, что, Рашид, – еще по одной? Для разгону?  
– А может, – погодим немного? – для порядка откажется Рашид.  
– Эх, Рашид, Рашид... – покачает головой деда Веня. – Разве я не вижу?  
– А что ты видишь?  
– Что добавить тебе не терпится!!! – мelenько засмеется деда Веня и, продолжая посмеиваться таким образом, вытянет указательный палец и покачает им перед самым носом Рашида. – Я, брат, многое вижу... Не первый день, все-таки, живу.  
– Ну, что с тобой делать, бабай! – воскликнет Калимуллин. – Лей! Чего уж там!.. Все равно день пропал...

Они выпьют еще и присядут на отопительную трубу, обернутую стекловатой и рубероидом. Рашид, как полагается, закурит... И понемногу завяжется промеж них задушевная такая беседа. Вернее, – монолог деда Вени с редкими репликами Рашида.

Обычно сидят они очень долго. Деда Веня бессвязно, с пятого на десятое перескакивая, рассказывает о своей жизни, останавливаясь для того лишь, чтобы плеснуть Рашиду, – сам он больше уже не пьет. Рашид слушает старика, а слушая, изредка ехидно улыбается, хитрован, – благо улыбку эту на лице его разглядеть почти невозможно.

Это ведь он, Калимуллин Рашид, старика Шапокляком прозвал. Он, змей хитромудрый... Вышло это, впрочем, ненароком. Случайно совсем вышло. Без умысла он это сделал, во всяком случае.

Выйдя как-то из подвала вместе с мужиками, Калимуллин нервно закурил и сказал:

– Вот так старик... Прямо Шапокляк какой-то, а не старик!  
– Кто?! – не поняли мужики.  
– Шапокляк, говорю... Как в мультфильме про Чебурашку и крокодила Гену.  
– Точно, точно!!! – захохотали мужики. – Натуральный Шапокляк! Как это там, в мультфильме, поется? Кто людям помогает, тот время тратит зря?!  
– Погодите, погодите, мужики, – усомнился кто-то. – Так ведь там старуха была, а не старик!  
– А какая разница? – за всех высказался Рашид. – Как ни крути, а суть-то одна!!!  
Вот с тех-то пор и пошло-поехало: Шапокляк, да Шапокляк... За глаза, конечно.

На исходе месяца, ранним утром, деда Веня, по своему обыкновению, крадучись, спустился в подвал... И удивленно замер перед решетчатой перегородкой, сколоченной из деревянных брусков. Кто-то из мужиков не поленился и перегородил подвальный тупичок, перекрыв таким образом доступ к центральной задвижке. Она темнела в самом углу тупичка, недоступная. И ведь что самое обидное, – ладно бы перегородка сплошная была! Так ведь нет, – между брусками оставили зазоры. Разглядеть задвижку – можно. И даже руку между брусков просунуть... Но – не дотянуться.

Деда Веня потрогал брусья, качнул пальцем навесной замок на двери, помедлив чуть, повернулся и медленно побрел к выходу из подвала.

Мужики встретили его у самого выхода. Сдерживая злорадные улыбки, молча взглянули на старика и, как ни в чем не бывало, продолжили оживленную беседу. Деда Веня прошел мимо них, не здороваясь, потом остановился и обернулся. Мужики, как по команде, воззрились на него, уже не сдерживая улыбок.

– Что, деда Веня, – не выдержал Витька Шепель, – близок локоток, да не укусишь?

Деда Веня, ничего не ответив, потерянно оглядел мужиков и побрел к своему подъезду. Маленький такой и неприметный старичок.

На самом-то деле совсем он небожий старик, этот самый деда Веня. Неприметный и тихий. Это после смерти старухи его, тетки Глаши, с ним странности начались. А так... Пройдет, бывало, мимо и даже не вспомнишь вот так, сразу, – поздоровался ты с ним или нет?

Через неделю на дом обрушилась новая напасть. По вечерам, в аккурат перед началом очередной серии телесериала, когда женская половина дома усаживалась перед экранами телевизоров, в доме стало отключаться электричество. Да не только в этом доме, но и во всем квартале!

Поскольку подобное в последнее время случалось довольно часто, поначалу никто из жильцов деда Веню ни в чем не заподозрил. Вызвали по телефону электриков, – те, к удивлению жильцов дома, приехали скоро и, что еще удивительней, работу свою выполнили быстро. Свет в квартале, к вящей радости женщин, появился через полчаса. Так что они даже телесериал досмотреть успели.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.